



Константин Михайлович Станюкович
Максимка

Серия ««Морские рассказы»»

OCR & SpellCheck: Zmiy (zpdd@chat.ru), 16 декабря 2001

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=136461

*Книга: К.М.Станюкович. «Морские рассказы»: Издательство
«Юнацтва»; Минск; 1981*

Содержание

I	7
II	11
III	14
IV	19
V	25
VI	30
VII	37
VIII	49

**Константин Михайлович
Станюкович
Максимка
Из цикла «Морские
рассказы»**

Посвящается Тусику



Лодка сгоревший Улаво Агикон и Максимика.



I

Только что пробил колокол. Было шесть часов прелестного тропического утра на Атлантическом океане.

По бирюзовому небосклону, бесконечно высокому и прозрачно-нежному, местами подернутому, словно белоснежным кружевом, маленькими перистыми облачками, быстро поднимается золотистый шар солнца, жгучий и ослепительный, заливая радостным блеском водяную холмистую поверхность океана. Голубые рамки далекого горизонта ограничивают его беспредельную даль.

Как-то торжественно безмолвно кругом.

Только могучие светло-синие волны, сверкая на солнце своими серебристыми верхушками и нагоняя одна другую, плавно переливаются с тем ласковым, почти нежным ропотом, который точно нашептывает, что в этих широтах, под тропиками, вековечный старик океан всегда находится в добром расположении духа.

Бережно, словно заботливый нежный пестун, несет он на своей исполинской груди плывущие корабли, не угрожая морякам бурями и ураганами.

Пусто вокруг!

Не видно сегодня ни одного белеющего паруса, не видно ни одного дымка на горизонте. Большая океанская дорога широка.

Изредка блеснет на солнце серебристою чешуйкой летучая рыбка, покажет черную спину играющий кит и шумно выпустит фонтан воды, высоко прореет в воздухе темный фрегат или белоснежный альбатрос, пронесется над водой маленькая серая петрель, направляясь к далеким берегам Африки или Америки, и Снова пусто. Снова рокочущий океан, солнце да небо, светлые, ласковые, нежные.

Слегка покачиваясь на океанской зыби, русский военный паровой клипер «Забияка» быстро идет к югу, удаляясь все дальше и дальше от севера, мрачного, угрюмого и все-таки близкого и дорогого севера.

Небольшой, весь черный, стройный и красивый со своими тремя чуть-чуть подавшимися назад высокими мачтами, сверху донизу покрытый парусами, «Забияка» с попутным и ровным, вечно дующим в одном и том же направлении северо-восточным пассатом бежит себе миль по семи – восьми в час, слегка накренившись своим подветренным бортом. Легко и грациозно поднимается «Забияка» с волны на волну, с тихим шумом рассекает их своим острым водорезом, вокруг которого пенится вода и рассыпается алмазную пылью. Волны ласково лижут бока клипера. За кормой стелется широкая серебристая лента.

На палубе и внизу идет обычная утренняя чистка и уборка клипера – подготовка к подъему флага, то есть к восьми часам утра, когда на военном судне начинается день.

Рассыпавшись по палубе в своих белых рабочих рубашках

с широкими откидными синими воротами, открывающими жилистые загорелые шеи, матросы, босые, с засученными до колен штанами, моют, скребут и чистят палубу, борты, пушки и медь – словом, убирают «Забияку» с тою щепетильною внимательностью, какую отличаются моряки при уборке своего судна, где всюду, от верхушек мачт до трюма, должна быть умопомрачающая чистота и где все, доступное кирпичу, суконке и белилам, должно блестеть и сверкать.

Матросы усердно работали и весело посмеивались, когда горластый боцман Матвейч, старый служака с типичным боцманским лицом старого времени, красным и от загара и от береговых кутежей, с выкаченными серыми глазами, «чумея», как говорили матросы, во время «убирки» выпаливал какую-нибудь уж очень затейливую ругательную импровизацию, поражавшую даже привычное ухо русского матроса. Делал Матвейч это не столько для поощрения, сколько, как он выражался, «для порядка».

Никто за это не сердился на Матвейча. Все знают, что Матвейч добрый и справедливый человек, кляуз не заводит и не злоупотребляет своим положением. Все давно привыкли к тому, что он не мог произнести трех слов без ругани, и порой восхищаются его бесконечными вариациями. В этом отношении он был виртуоз.

Время от времени матросы бегали на бак, к кадке с водой и к ящику, где тлел фитиль, чтобы наскоро выкурить трубочку острой махорки и перекинуться словом. Затем снова при-

нимались чистить и оттирать медь, наводить глянец на пушки и мыть борты, и особенно старательно, когда приближалась высокая худощавая фигура старшего офицера, с раннего утра носившегося по всему клиперу, заглядывая то туда, то сюда.

Вахтенный офицер, молодой блондин, стоявший вахту с четырех до восьми часов, уже давно разогнал дрему первого полчаса вахты. Весь в белом, с расстегнутою ночной сорочкой, он ходит взад и вперед по мостику, вдыхая полной грудью свежий воздух утра, еще не накаленный жгучим солнцем. Нежный ветер приятно ласкает затылок молодого лейтенанта, когда он останавливается, чтобы взглянуть на компас – по румбу ли правят рулевые, или на паруса – хорошо ли они стоят, или на горизонт – нет ли где шквалистого облачка.

Но все хорошо, и лейтенанту почти нечего делать на вахте в благодатных тропиках.

И он снова ходит взад и вперед и слишком рано мечтает о том времени, когда вахта кончится и он выпьет стакан-другой чаю со свежими горячими булками, которые так мастерски печет офицерский кок, если только водку, которую он требует для поднятия теста, не воьет в себя.

II

Вдруг по палубе пронесся неестественно громкий и тревожный окрик часового, который, сидя на носу судна, смотрел вперед:

– Человек в море!

Матросы кинули мгновенно работы, и, удивленные и взволнованные, бросились на бак, и устремили глаза на океан.

– Где он, где? – спрашивали со всех сторон часового, молодого белобрысого матроса, лицо которого вдруг побелело как полотно.

– Вон, – указывал дрогнувшей рукой матрос. – Теперь скрылся. А сейчас видел, братцы... На мачте держался... привязан, что ли, – возбужденно говорил матрос, напрасно стараясь отыскать глазами человека, которого только что видел.

Вахтенный лейтенант вздрогнул от окрика часового и впился глазами в бинокль, наводя его в пространство перед клипером.

Сигнальщик смотрел туда же в подозрную трубу.

– Видишь? – спросил молодой лейтенант.

– Вижу, ваше благородие... Левее извольте взять...

Но в это мгновение и офицер увидел среди волн обломок мачты и на ней человеческую фигуру.

И взвизгивающим, дрожащим голосом, торопливым и нервным, он крикнул во всю силу своих здоровых легких:

– Свистать всех наверх! Грот и фок на гитовы! Баркас к спуску!

И, обратившись к сигнальщику, возбужденно прибавил:

– Не теряй из глаз человека!

– Пошел все наверх! – рявкнул сипловатым баском боцман после свистка в дудку.

Словно бешеные, матросы бросились к своим местам.

Капитан и старший офицер уже вбегали на мостик. Полусонные, заспанные офицеры, надевая на ходу кители, поднимались по трапу на палубу.

– Старший офицер принял команду, как всегда бывает при аврале, и, как только раздались его громкие, отрывистые командные слова, матросы стали исполнять их с какою-то лихорадочною порывистостью. Все в их руках точно горело. Каждый словно бы понимал, как дорога каждая секунда.

Не прошло и семи минут, как почти все паруса, за исключением двух – трех, были убраны, «Забияка» лежал в дрейфе, недвижно покачиваясь среди океана, и баркас с шестнадцатью гребцами и офицером у руля спущен был на воду.

– С богом! – крикнул с мостика капитан на отвалившийся от борта баркас.

Гребцы навалились изо всех сил, торопясь спасти человека.

Но в эти семь минут, пока остановился клипер, он успел

пройти больше мили, и обломка мачты с человеком не видно было в бинокль.

По компасу заметили все-таки направление, в котором находилась мачта, и по этому направлению выгребал баркас, удаляясь от клипера.

Глаза всех моряков «Забияки» провожали баркас. Какою ничтожною скорлупою казался он, то показываясь на гребнях больших океанских волн, то скрываясь за ними.

Скоро он казался маленькой черной точкой.

III

На палубе царила тишина.

Только порой матросы, теснившиеся на юте и на шканцах, менялись между собой отрывистыми замечаниями, производимыми вполголоса:

– Должно, какой-нибудь матросик с потопшего корабля.

– Потонуть кораблю здесь трудно. Разве вовсе плохое судно.

– Нет, видно, столкнулся с каким другим ночью...

– А то и сгорел.

– И всего-то один человек остался, братцы!

– Может, другие на шлюпках спасаются, а этого забыли...

– Живой ли он?

– Вода теплая. Может, и живой.

– И как это, братцы, акул-рыба его не съела. Здесь этих самых акул страсть!

– Дда, милые! Опаская эта флотская служба. Ах, какая опаская! – произнес, подавляя вздох, совсем молодой чернявый матросик с серьгой, первогодок, прямо от сохи попавший в кругосветное плавание.

И с омраченным грустью лицом он снял шапку и медленно перекрестился, точно безмолвно моля бога, чтобы он сохранил его от ужасной смерти где-нибудь в океане.

Прошло три четверти часа общего томительного ожида-

ния.

Наконец сигнальщик, не отрывавший глаза от подозрительной трубы, весело крикнул:

– Баркас пошел назад!

Когда он стал приближаться, старший офицер спросил сигнальщика:

– Есть на нем спасенный?

– Не видать, ваше благородие! – уже не так весело отвечал сигнальщик.

– Видно, не нашли! – проговорил старший офицер, подходя к капитану.

Командир «Забияки», низенький, коренастый и крепкий брюнет пожилых лет, заросший сильно волосами, покрывавшими мясистые щеки и подбородок густою черною заседевшею щетиной, с небольшими круглыми, как у ястреба, глазами, острыми и зоркими, – недовольно вздернул плечом и, видимо сдерживая раздражение, проговорил:

– Не думаю-с. На баркасе исправный офицер и не вернулся бы так скоро, если б не нашел человека-с.

– Но его не видно на баркасе.

– Быть может, внизу Лежит, потому и не видно-с... А впрочем-с, скоро узнаем...

И капитан заходил по мостику, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть на приближавшийся баркас. Наконец он взглянул в бинокль и хоть не видел спасенного, но по спокойному-веселому лицу офицера, сидевшего на руле, решил,

что спасенный на баркасе. И на сердитом лице капитана за-светилась улыбка.

Еще несколько минут, и баркас подошел к борту и вместе с людьми был поднят на клипер.

Вслед за офицером из баркаса стали выходить гребцы, красные, вспотевшие, с трудом переводившие дыхание от усталости. Поддерживаемый одним из гребцов, на палубу вышел и спасенный – маленький негр, лет десяти – одиннадцати, весь мокрый, в рваной рубашке, прикрывавшей небольшую часть его худого, истощенного, черного, отливавшего глянцем тела.

Он едва стоял на ногах и вздрагивал всем телом, глядя ввалившимися большими глазами с какою-то безумною радостью и в то же время недоумением, словно не веря своему спасению.

– Совсем полумертвого с мачты сняли; едва привели в чувство бедного мальчишку, – докладывал капитану офицер, ходивший на баркасе.

– Скорее его в лазарет! – приказал капитан.

Мальчика тотчас же отнесли в лазарет, вытерли насухо, уложили в койку, покрыли одеялами, и доктор начал его отхаживать, вливая в рот ему по несколько капель коньяку.

Он жадно глотал влагу и умоляюще глядел на доктора, показывая на рот.

А наверху ставили паруса, и минут через пять «Забияка» снова шел прежним курсом, и матросы снова принялись за

прерванные работы.

– Арапчонка спасли! – раздавались со всех сторон веселые матросские голоса.

– И какой же он щуплый, братцы!

Некоторые бегали в лазарет узнавать, что с арапчонком.

– Доктор отхаживает. Небось, выходит!

Через час марсовой Коршунов принес известие, что арапчонок спит крепким сном, после того как доктор дал ему несколько ложечек горячего супа...

– Нарочно для арапчонка, братцы, кок суп варил; вовсе, значит, пустой, безо всего, – так, отвар быдто, – с оживлением продолжал Коршунов, довольный и тем, что ему, известному вралю, верят в данную минуту, и тем, что он на этот раз не врет, и тем, что его слушают.

И, словно бы желая воспользоваться таким исключительным для него положением, он торопливо продолжает:

– Фершал, братцы, сказывал, что этот самый арапчонок по-своему что-то лопотал, когда его кормили, просил, значит: «Дайте больше, мол, этого самого супу»... И хотел даже вырвать у доктора чашку... Однако не допустили: значит, брат, сразу нельзя... Помрет, мол.

– Что ж арапчонок?

– Ничего, покорился...

В эту минуту к кадке с водой подошел капитанский вестовой Сойкин и закурил остаток капитанской сигары. Тотчас же общее внимание было обращено на вестового, и кто-то

спросил:

– А не слышно, Сойкин, куда денут потом арапчонка?

Рыжеволосый, веснушчатый, франтоватый, в собственной тонкой матросской рубаше и в парусинных башмаках, Сойкин не без достоинства пыхнул дымком сигары и авторитетным тоном человека, имеющего кое-какие сведения, проговорил:

– Куда деть? Оставят на Надежном мысу, когда, значит, придем туда.

«Надежным мысом» он называл мыс Доброй Надежды.

И, помолчав, не без пренебрежения прибавил:

– Да и что с им делать, с черномазой нехристью? Вовсе даже дикие люди.

– Дикие не дикие, а всё божья тварь... Пожалеть надо! – промолвил старый плотник Захарыч.

Слова Захарыча, видимо, вызвали общее сочувствие среди кучки курильщиков.

– А как же арапчонок оттель к своему месту вернется? Тоже и у его, поди, отец с матерью есть! – заметил кто-то.

– На Надежном мысу всяких арапов много. Небось, дознаются, откуда он, – ответил Сойкин и, докурив окурочек, вышел из круга.

– Тоже вестовщина. Полагает о себе! – сердито пустил ему вслед старый плотник.

IV

На другой день мальчик-негр хотя и был очень слаб, но настолько оправился после нервного потрясения, что доктор, добродушный пожилой толстяк, радостно улыбаясь своею широкою улыбкою, потрепал ласково мальчика по щеке и дал ему целую чашку бульону, наблюдая, с какой жадностью глотал он жидкость и как потом благодарно взглянул своими большими черными выпуклыми глазами, зрачки которых блестели среди белков.

После этого доктор захотел узнать, как мальчик очутился в океане и сколько времени он голодал, но разговор с пациентом оказался решительно невозможным, несмотря даже на выразительные пантомимы доктора. Хотя маленький негр, по-видимому, был сильнее доктора в английском языке, но так же, как и почтенный доктор, безбожно коверкал несколько десятков английских слов, которые были в его распоряжении.

Они друг друга не понимали.

Тогда доктор послал фельдшера за юным мичманом, которого все в кают-компании звали Петенькой.

– Вы, Петенька, отлично говорите по-английски, поговорите-ка с ним, а у меня что-то не выходит! – смеясь проговорил доктор. – Да скажите ему, что дня через три я его выпущу из лазарета! – прибавил доктор.

Юный мичман, присев около койки, начал свой допрос, стараясь говорить короткие фразы тихо и отдельно, и маленький негр, видимо, понимал, если не все, о чем спрашивал мичман, то во всяком случае кое-что, и спешил отвечать рядом слов, не заботясь об их связи, но зато подкрепляя их выразительными пантомимами.

После довольно продолжительного и трудного разговора с мальчиком-негром мичман рассказал в кают-компании более или менее верную в общих чертах историю мальчика, основанную на его ответах и мимических движениях.

Мальчик был на американском бриге «Бетси» и принадлежал капитану («большому мерзавцу», – вставил мичман), которому чистил платье, сапоги и подавал кофе с коньяком или коньяк с кофе. Капитан звал слугу своего «боем»¹, и мальчик уверен, что это его имя. Отца и матери он не знает. Капитан год тому назад купил маленького негра в Мозамбике и каждый день бил его. Бриг шел из Сенегала в Рио с грузом негров. Две ночи тому назад бриг сильно стукнуло другое судно (эту часть рассказа мичман основал на том, что маленький негр несколько раз проговорил: «кра, кра, кра» и затем слабо стукнул своим кулачком по стенке лазаретной каютки), и бриг пошел ко дну... Мальчик очутился в воде, привязался к обломку мачты и провел на ней почти двое суток...

¹ Вой – по-английски – мальчик; кроме того, «бой» – общепринятое в английских колониях наименование вообще слуг.

Но несравненно красноречивее всяких слов, если бы такие и мог сказать мальчик о своей ужасной жизни, говорило и его удивление, что с ним ласково обращаются, и забитый его вид, и эти благодарные его взгляды загнанной собачонки, которыми он смотрел на доктора, фельдшера и на мичмана, и – главное – его покрытая рубцами, блестящая черная худая спина с выдающимися ребрами.

Рассказ мичмана и показания доктора произвели сильное впечатление в кают-компании. Кто-то сказал, что необходимо поручить этого бедняжку покровительству русского консула в Каптоуне и сделать в пользу негра сбор в кают-компании.

Пожалуй, еще большее впечатление произвела история маленького негра на матросов, когда в тот же день, под вечер, молодой вестовой мичмана, Артемий Мухин – или, как все его звали, Артюшка, – передавал на баке рассказ мичмана, причем не отказал себе в некотором злорадном удовольствии украсить рассказ некоторыми прибавлениями, свидетельствующими о том, какой был дьявол этот американец капитан.

– Каждый день, братцы, он мучил арапчонка. Чуть что, сейчас в зубы: раз, другой, третий, да в кровь, а затем снимет с крючка плетку, – а плетка, братцы, отчаянная, из самой толстой ремешки, – и давай лупцевать арапчонка! – говорил Артюшка, вдохновляясь собственной фантазией, вызванной желанием представить жизнь арапчонка в самом ужасном

виде. – Не разбирал, анафема, что перед им безответный мальчонка, хоть и негра... У бедняги и посейчас вся спина исполосована... Доктор сказывал: страсть поглядеть! – добавил впечатлительный и увлекавшийся Артюшка.

Но матросы, сами бывшие крепостные и знавшие по собственному опыту, как еще в недавнее время «полосовали» им спины, и без Артюшкиных прикрас жалели арапчонка и посылали по адресу американского капитана самые недобрые пожелания, если только этого дьявола уже не сожрали акулы.

– Небось, у нас уж объявили волю хрестьянам, а у этих мериканцев, значит, крепостные есть? – спросил какой-то пожилой матрос.

– То-то, есть!

– Чудно что-то... Вольный народ, а поди ж ты! – протянул пожилой матрос.

– У их арапы быдто вроде крепостных! – объяснял Артюшка, слыхавший кое-что об этом в кают-компании. – Изза этого самого у их промеж себя и война идет. Одни мериканцы, значит, хотят, чтобы все арапы, что живут у их, были вольные, а другие на это никак не согласны – это те, которые имеют крепостных арапов, – ну и жарят друг дружку, страсть!.. Только господа сказывали, что которые мериканцы за арапов стоят, те одолеют! Начисто разделают помещиков мериканских! – не без удовольствия прибавил Артюшка.

– Не бойсь, господь им поможет... И арапу на воле жить

хочется... И птица клетки не любит, а человек и подавно! – вставил плотник Захарыч.

Чернявый молодой матросик-первогодок, тот самый, который находил, что флотская служба очень «опаская», с напряженным вниманием слушал разговор и, наконец, спросил:

– Теперь, значит, Артюшка, этот самый арапчонок вольный будет?

– А ты думал как? Известно, вольный! – решительно проговорил Артюшка, хотя в душе и не вполне был уверен в свободе арапчонка, не имея решительно никаких понятий об американских законах насчет прав собственности.

Но его собственные соображения решительно говорили за свободу мальчика. «Черта-хозяина» нет, к рыбам в гости пошел, так какой тут разговор!

И он прибавил:

– Теперь арапчонку только новый пачпорт выправить на Надежном мысу. Получи пачпорт, и айда на все четыре стороны.

Эта комбинация с паспортом окончательно рассеяла его сомнения.

– То-то и есть! – радостно воскликнул чернявый матросик-первогодок.

И на его добродушном румяном лице с добрыми, как у щенка, глазами засветилась тихая светлая улыбка, выдававшая радость за маленького несчастного негра.

Короткие сумерки быстро сменились чудною, ласковою тропическою ночью. Небо зажглось мириадами звезд, ярко мигающих с бархатной выси. Океан потемнел вдали, сияя фосфорическим блеском у бортов клипера и за кормою.

Скоро просвистали на молитву, и затем подвахтенные, взявши койки, улеглись спать на палубе.

А вахтенные матросы коротали вахту, притулившись у снастей, и лясничали вполголоса. В эту ночь во многих кучках говорили об арапчонке.

V

Через два дня доктор, по обыкновению, пришел в лазарет в семь часов утра и, обследовав своего единственного пациента, нашел, что он поправился, может встать, выйти наверх и есть матросскую пищу. Объявил он об этом маленькому негру больше знаками, которые были на этот раз быстро поняты поправившимся и повеселевшим мальчиком, казалось, уже забывшим недавнюю близость смерти. Он быстро вскочил с койки, обнаруживая намерение идти наверх погреться на солнышке, в длинной матросской рубахе, которая сидела на нем в виде длинного мешка, но веселый смех доктора и хихиканье фельдшера при виде черненького человечка в таком костюме несколько смутили негра, и он стоял среди каюты, не зная, что ему предпринять, и не вполне понимая, к чему доктор дергает его рубаху, продолжая смеяться.

Тогда негр быстро ее снял и хотел было юркнуть в двери нагишом, но фельдшер удержал его за руку, а доктор, не переставая смеяться, повторял:

– Но, по, по...

И вслед за тем знаками приказал негру надеть свою рубашку-мешок.

– Во что бы одеть его, Филиппов? – озабоченно спрашивал доктор щеголеватого курчавого фельдшера, человека лет тридцати. – Об этом-то мы с тобой, братец, и не подумали...

– Точно так, вашескобродие, об этом мечтания не было. А ежели теперь обрезать ему, значит, рубаху примерно до колен, вашескобродие, да, с позволения сказать, перехватить талию ремнем, то будет даже довольно «обоюдно», вашескобродие, – заключил фельдшер, имевший несчастную страсть употреблять некстати слова, когда он хотел выразиться по-кудрявее, или, как матросы говорили, позанозистее.

– То есть как «обоюдно»? – улыбнулся доктор.

– Да так-с... обоюдно... Кажется, всем известно, что означает «обоюдно», вашескобродие! – обиженно проговорил фельдшер. – Удобно и хорошо, значит.

– Едва ли это будет «обоюдно», как ты говоришь. Один смех будет, вот что, братец. А впрочем, надо же как-нибудь одеть мальчика, пока не попрошу у капитана разрешения сшить мальчику платье по мерке.

– Очень даже возможно хороший костюм сшить... На клипере есть матросы по портной части. Сошьют.

– Так устраивай свой обоюдный костюм.

Но в эту минуту в двери лазаретной каюты раздался осторожный, почтительный стук.

– Кто там? Входи! – крикнул доктор.

В дверях показалось сперва красноватое, несколько припухлое, неказистое лицо, обрамленное русыми баками, с подозрительного цвета носом и воспаленными живыми и добрыми глазами, а вслед за тем и вся небольшая, сухощавая, довольно ладная и крепкая фигура фор-марсового Ивана

Лучкина.

Это был пожилой матрос, лет сорока, прослуживший во флоте пятнадцать лет и бывший на клипере одним из лучших матросов и отчаянных пьяниц, когда попадал на берег. Случалось, он на берегу пропивал все свое платье и являлся на клипер в одном белье, ожидая на следующее утро наказания с самым, казалось, беззаботным видом.

– Это я, вашескобродие, – проговорил Лучкин сиповатым голосом, переступая большими ступнями босых жилистых ног и теребя засмоленной шершавой рукой обтянутую штанину.

В другой руке у него был узелок.

Он глядел на доктора с тем застенчиво-виноватым выражением и в лице и в глазах, которое часто бывает у пьяниц и вообще у людей, знающих за собой порочные слабости.

– Что тебе, Лучкин?.. Заболел, что ли?

– Никак нет, вашескобродие, – я вот платье арапчонку принес... Думаю: голый, так сшил и мерку еще раньше снял. Дозвольте отдать, вашескобродие.

– Отдавай, братец... Очень рад, – говорил доктор, несколько изумленный. – Мы вот думали, во что бы одеть мальчика, а ты раньше нас подумал о нем...

– Способное время было, вашескобродие, – как бы извинялся Лучкин.

И с этими словами он вынул из ситцевого платка маленькую матросскую рубаху и такие же штаны, сшитые из холста,

встряхнул их и, подавая ошалевшему мальчику, весело и уже совсем не виноватым тоном, каким говорил с доктором, сказал, ласково глядя на негра:

– Получай, Максимка! Одежа самая, братец ты мой, вери гут. Одевай да носи на здоровье, а я посмотрю, как сидит... Вали, Максимка!

– Отчего ты его Максимкой зовешь? – рассмеялся доктор.

– А как же, вашескобродие? Максимка и есть, потому как его в день святого угодника Максима спасли, он и выходит Максимка... Опять же имени у арапчонка нет, надо же его как-нибудь звать.

Радости мальчика не было пределов, когда он облачился в новую чистую пару. Видимо, такого платья он никогда не носил.

Лучкин осмотрел свое изделие со всех сторон, обдергал и пригладил рубаху и нашел, что платье во всем аккурате.

– Ну, теперь валим наверх, Максимка... Погрейся на солнышке! Дозвольте, вашескобродие.

Доктор, сияя добродушной улыбкой, кивнул головой, и матрос, взяв за руку негра, повел его на бак и, показывая матросам, проговорил:

– Вот он и Максимка! Не бойсь, теперь забудет идола-американца, знает, что российские матросы его не забидят.

И он любовно трепал мальчика по плечу и, показывая на его курчавую голову, сказал:

– Ужо, брат, и шапку справим... И башмачки будут, дай

срок!

Мальчик ничего не понимал, но чувствовал по всем этим загорелым лицам матросов, по их улыбкам, полным участия, что его не обидят.

И он весело скалил свои ослепительно белые зубы, нежась под горячими лучами родного ему южного солнца.

С этого дня все стали его звать Максимкой.

VI

Представив матросам на баке маленького, одетого по-матросски негра, Иван Лучкин тотчас же объявил, что будет «доглядывать» за Максимкой и что берет его под свое особое покровительство, считая, что это право принадлежит исключительно ему уж в силу того, что он «обрядил мальчонка» и дал ему, как он выразился, «форменное прозвище».

О том, что этот заморенный, худой маленький негр, испытавший на заре своей жизни столько горя у капитана-американца, возбудил необыкновенную жалость в сердце одинокого как перст матроса, жизнь которого, особенно прежде, тоже была не из сладких, и вызвал желание сделать для него возможно приятными дни пребывания на клипере, – о том Лучкин не проронил ни слова. По обыкновению русских простых людей, он стыдился перед другими обнаруживать свои чувства и, вероятно, поэтому объяснил матросам желание «доглядывать» за Максимкой исключительно тем, что «арапчонок занятный, вроде облизьяны, братцы». Однако на всякий случай довольно решительно заявил, бросая внушительный взгляд на матроса Петрова, известного задиру, любившего обижать безответных и робких первогодков матросов, – что если найдется такой, «прямо сказать, подлец», который завидит сироту, то будет иметь дело с ним, с Иваном Лучкиным.

– Не бойсь, искровяню морду в самом лучшем виде! – прибавил он, словно бы в пояснение того, что значит иметь с ним дело. – Забивать дитё – самый большой грех... Какое ни на есть оно: крещеное или арапское, а все дитё... И ты его не забидь! – заключил Лучкин.

Все матросы охотно признали заявленные Лучкиным права на Максимку, хотя многие скептически отнеслись к рачительному исполнению принятой им добровольно на себя хлопотливой обязанности.

Где, мол, такому «отчаянному матросне» и забулдыге-пьянице возиться с арапчонком?

И кто-то из старых матросов не без насмешки спросил:

– Так ты, Лучкин, значит, вроде быдто няньки будешь у Максимки?

– То-то, за няньку! – отвечал с добродушным смехом Лучкин, не обращая внимания на иронические усмешки и улыбки. – Нешто я в няньки не гожусь, братцы? Не к барчуку ведь!.. Тоже и этого черномазого надо обрядить... другую смену одежды сшить, да башмаки, да шапку справить... Дохтур исхлопочет, чтобы, значит, товар казенный выдали... Пушай Максимка добром вспомнит российских матросиков, как оставят его беспризорного на Надежном мысу. По крайности, не голый будет ходить.

– Да как же ты, Лучкин, будешь лопотать о эстим самым арапчонком? Ни ты его, ни он тебя!..

– Не бойсь, договоримся! Еще как будем-то говорить! – с

какою-то непостижимой уверенностью произнес Лучкин. – Он даром что арапского звания, а понятливый... я его, братцы, скоро по-нашему выучу... Он поймет...

И Лучкин ласково взглянул на маленького негра, который, притулившись к борту, любопытно озирался вокруг.

И негр, перехватив этот полный любви и ласки взгляд матроса, тоже в ответ улыбался, оскаливая зубы, широкой благодарной улыбкой, понимая без слов, что этот матрос друг ему.

Когда в половине двенадцатого часа были окончены все утренние работы, и вслед за тем вынесли на палубу енды с водкой, и оба боцмана и восемь унтер-офицеров, ставши в кружок, засвистали призыв к водке, который матросы не без остроумия называют «соловьиным пением», – Лучкин, радостно улыбаясь, показал мальчику на свой рот, проговорив: «Сиди тут, Максимка!», и побежал на шканцы, оставив негра в некотором недоумении.

Недоумение его, впрочем, скоро разрешилось.

Острый запах водки, распространявшийся по всей палубе, и удовлетворенно-серьезные лица матросов, которые, возвращаясь со шканцев, утирали усы своими засмоленными шершавыми руками, напомнили маленькому негру о том, что и на «Бетси» раз в неделю матросам давали по стакану рома, и о том, что капитан пил его ежедневно и, как казалось мальчику, больше, чем бы следовало.

Лучкин, уже вернувшийся к Максимке и после большой

чарки водки бывший в благодушном настроении, весело трепанул мальчика по спине и, видимо, желая поделиться с ним приятными впечатлениями, проговорил:

– Бон водка! Вери гут шнапс, Максимка, я тебе скажу.

Максимка сочувственно кивнул головой и промолвил:

– Вери гут!

Это быстрое понимание привело Лучкина в восхищение, и он воскликнул:

– Ай да молодца, Максимка! Все понимаешь... А теперь валим, мальчонка, обедать... Небось, есть хочешь?

И матрос довольно наглядно задвигал скулами, открывая рот.

И это понять было нетрудно, особенно когда мальчик увидел, как снизу один за другим выходили матросы-артельщики, имея в руках изрядные деревянные баки (мисы) со щами, от которых шел вкусный пар, приятно щекотавший обоняние.

И маленький негр довольно красноречиво замахал головой, и глаза его блеснули радостью.

– Ишь ведь, все понимает? Башковатый! – промолвил Лучкин, начинавший уже несколько пристрастно относиться и к арапчонку и к своему умению разговаривать с ним понятно, и, взяв Максимку за руку, повел его.

На палубе, прикрытой брезентами, уже расселись, поджав ноги, матросы небольшими артелями, человек по двенадцати, вокруг дымящихся баков со щами из кислой капусты, за-

пасенной еще из Кронштадта, и молча и истово, как вообще едят простолюдины, хлебали варево, заедая его размоченными сухарями.

Осторожно ступая между обедающими, Лучкин подошел с Максимкой к своей артели, расположившейся между грот- и фок-мачтами, и проговорил, обращаясь к матросам, еще не начинавшим, в ожидании Лучкина, обедать:

– А что, братцы, примете в артель Максимку?

– Чего спрашиваешь зря? Садись с арапчонком! – проговорил старый плотник Захарыч.

– Может, другие которые... Сказывай, ребята! – снова спросил Лучкин.

Все в один голос отвечали, что пусть арапчонок будет в их артели, и потеснились, чтобы дать им обоим место.

И со всех сторон раздались шуточные голоса:

– Не бойсь, не объест твой Максимка!

– И всю солонину не съест!

– Ему и ложка припасена, твоему арапчонку.

– Да я, братцы, по той причине, что он негра... некрещеный, значит, – промолвил Лучкин, присевши к баку и усадивши около себя Максимку. – Но только я полагаю, что у бога все равны... Всем хлебушка есть хочется...

– А то как же? Господь на земле всех терпит... Не бойсь, не разбирает. Это вот разве который дурак, как вестовщина Сойкин, мелет безо всякого рассудка об нехристях! – снова промолвил Захарыч.

Все, видимо, разделяли мнение Захарыча. Недаром же русские матросы с замечательной терпимостью относятся к людям всех рас и с исповеданий, с какими приходится им встречаться.

Артель отнеслась к Максимке с полным радушием. Один дал ему деревянную ложку, другой придвинул размоченный сухарь, и все глядели ласково на затихшего мальчика, видимо, не привыкшего к особенному вниманию со стороны людей белой кожи, и словно бы приглашали его этими взглядами не робеть.

– Однако и начинать пора, а то щи застынут! – заметил Захарыч.

Все перекрестились и начали хлебать щи.

– Ты что же не ешь, Максимка, а? Ешь, глупый! Шти, брадец, скусные. Гут щи! – говорил Лучкин, показывая на ложку.

Но маленький негр, которого на бригае никогда не допускали есть вместе с белыми и который питался обедками один, где-нибудь в темном уголке, робел, хотя и жадными глазами посматривал на щи, глотая слюну.

– Эка пужливый какой! Видно, застращал арапчонка этот самый дьявол-мериканец? – промолвил Захарыч, сидевший рядом с Максимкой.

И с этими словами старый плотник погладил курчавую голову Максимки и поднес к его рту свою ложку...

После этого Максимка перестал бояться и через несколь-

ко минут уже усердно уписывал и щи, и накрошенную потом солонину, и пшенную кашу с маслом.

А Лучкин то и дело его похваливал и повторял:

– Вот это бон, Максимка. Вери гут, братец ты мой. Кушай себе на здоровье!

VII

По всему клиперу раздается храп отдыхающих после обеда матросов. Только отделение вахтенных не спит, да кто-нибудь из хозяйственных матросов, воспользовавшись временем, тачает себе сапоги, шьет рубаху или чинит какую-нибудь принадлежность своего костюма.

А «Забияка» идет да идет себе с благодатным пассатом, и вахтенным решительно нечего делать, пока не набежит грозовое облачко и не заставит моряков на время убрать все паруса, чтобы встретить тропический шквал с проливным дождем готовыми, то есть с оголенными мачтами, предоставляя его ярости меньшую площадь сопротивления.

Но горизонт чист. Ни с одной стороны не видно этого маленького серенького пятнышка, которое, быстро вырастая, несется громадной тучей, застилающей горизонт и солнце. Страшный порыв валит судно набок, страшный ливень стучит по палубе, промачивает до костей, и шквал так же быстро проносится далее, как и появляется. Он нашумел, облил дождем и исчез.

И снова ослепительное солнце, лучи которого быстро сушат и палубу, и снасти, и паруса, и матросские рубахи, и снова безоблачное голубое небо и ласковый океан, по которому бежит, снова одевшись всеми парусами, судно, подгоняемое ровным пассатом.

Благодать кругом и теперь... Тишина и на клипере.

Команда отдыхает, и в это время нельзя без особой крайности беспокоить матросов, – такой давно установившийся обычай на судах.

Притулившись в тени у фок-мачты, не спит сегодня и Лучкин, к удивлению вахтенных, знавших, что Лучкин здоров спать.

Мурлыкая себе под нос песенку, слов которой не разобрав, Лучкин кроил из куска парусины башмаки и по временам взглядывал на растянувшегося около него, сладко спавшего Максимку и на его ноги, чернеющиеся из-за белых штанов, словно бы соображая, правильна ли мерка, которую он снял с этих ног тотчас же после обеда.

По-видимому, наблюдения вполне успокаивают матроса, и он продолжает работу, не обращая больше внимания на маленькие черные ноги.

Что-то радостное и теплое охватывает душу этого бесшабашного пропойцы при мысли о том, что он сделает «на первый сорт» башмаки этому бедному, беспризорному мальчишке и справит ему все, что надо. Вслед за тем невольно проносится вся его матросская жизнь, воспоминание о которой представляет довольно однообразную картину бесшабашного пьянства и порок за пропитые казенные вещи.

И Лучкин не без основательности заключает, что не будь он отчаянным марсовым, бесстрашие которого приводило в восторг всех капитанов и старших офицеров, с которыми он

служил, то давно бы ему быть в арестантских ротах.

– За службу жалели! – проговорил он вслух и почему-то вздохнул и прибавил: – То-то она и загвоздка!

К какому именно обстоятельству относилась эта «загвоздка»: к тому ли, что юн отчаянно пьянствовал при съездах на берег и дальше ближайшего кабака ни в одном городе (кроме Кронштадта) не бывал, или к тому, что он был лихой марсовой и потому только не попробовал арестантских рот, – решить было трудно. Но несомненным было одно: вопрос о какой-то «загвоздке» в его жизни, заставил Лучкина на несколько минут прервать мурлыканье, задуматься и в конце концов проговорить вслух:

– И хуфайку бы нужно Максимке... А то какой же человек без хуфайки?

В продолжение часа, полагавшегося на послеобеденный отдых команды, Лучкин успел скроить передки и приготовить подошвы для башмаков Максимки. Подошвы были новые, из казенного товара, приобретенные еще утром в долг у одного хозяйственного матроса, имевшего собственные сапоги, причем для верности, по предложению самого Лучкина, знавшего, как трудно у него держатся деньги, в особенности на твердой земле, уплату долга должен был произвести боцман, удержав деньги из жалованья.

Когда раздался боцманский свисток и вслед за тем команда горластого боцмана Василия Егоровича, или Егорыча, как звали его матросы, Лучкин стал будить сладко спав-

шего Максимку. Он хоть и пассажир, а все же должен был, по мнению Лучкина, жить по-матросски, как следует по расписанию, во избежание каких-либо неприятностей, главным образом, со стороны Егорыча. Егорыч хотя и был, по убеждению Лучкина, добер и дрался не зря, а с «большим рас­судком», а все-таки под сердитую руку мог съездить по уху и арапчонка за «непорядок». Так уж лучше и арапчонка к порядку приучать.

– Вставай, Максимка! – говорил ласковым тоном матрос, потряхивая за плечо негра.

Тот потянулся, открыл глаза и поглядел вокруг. Увидав, что все матросы встают и Лучкин собирает свою работу, Максимка торопливо вскочил на ноги и, как покорная собачонка, смотрел в глаза Лучкина.

– Да ты не бойся, Максимка... Ишь, глупый... всего боится! А это, братец, тебе будут башмаки...

Хотя негр решительно не понимал, что говорил ему Лучкин, то показывая на его ноги, то на куски скроенной парусины, тем не менее улыбался во весь свой широкий рот, чувствуя, вероятно, что ему говорят что-нибудь хорошее. Доверчиво и послушно пошел он за поманившим его Лучкиным на кубрик и там любопытно смотрел, как матрос уложил в парусиновый чемоданчик, наполненный бельем и платьем, свою работу, и снова ничего не понимал, и только опять благодарно улыбался, когда Лучкин снял свою шапку и, показывая пальцем то на нее, то на голову маленького негра, тщетно

старался объяснить и словами и знаками, что и у Максимки будет такая же шапка с белым чехлом и лентой.

Но зато негр чувствовал всем своим маленьким сердцем расположение этих белых людей, говоривших совсем не на том языке, на котором говорили белые люди на «Бетси», и особенно доброту этого матроса с красным носом, напоми-
навшим ему стручковый перец, и с волосами, похожими цветом на паклю, который подарил ему такое чудное платье, так хорошо угостил его вкусными яствами и так ласково смотрит на него, как никто не глядел на него во всю жизнь, кроме пары чьих-то больших черных навывкате глаз на женском чернокожем лице.

Эти глаза, добрые и нежные, жили в его памяти как далекое, смутное воспоминание, нераздельное с представлением шалашей, крытых бананами, и высоких пальм. Были ли это грезы или впечатления детства – он, конечно, не мог бы объяснить; но эти глаза, случалось, жалели его во сне. И теперь он увидел и наяву добрые, ласковые глаза.

Да и вообще эти дни пребывания на клипере казались ему теми хорошими грезами, которые являлись только во сне, – до того они не похожи были на недавние, полные страданий и постоянного страха.

Когда Лучкин, бросив объяснения насчет шапки, достал из чемоданчика кусок сахару и дал его Максимке, мальчик был окончательно подавлен. Он схватил мозолистую, шершавую руку матроса и стал ее робко и нежно гладить, за-

глядывая в лицо Лучкина с трогательным выражением благодарности забитого существа, согретого лаской. Эта благодарность светилась и в глазах и в лице... Она слышалась и в дрогнувших гортанных звуках нескольких слов, порывисто и горячо произнесенных мальчиком на своем родном языке перед тем, как он засунул сахар в рот.

– Ишь ведь, ласковый! Видно, -не знал доброго слова, горемычный! – промолвил матрос с величайшей нежностью, которую только мог выразить его сиповатый голос, и потрепал Максимку по щеке. – Ешь сахар-то. Скусный! – прибавил он.

И здесь, в этом темном уголке кубрика, после обмена признаний, закрепилась, так сказать, взаимная дружба матроса с маленьким негром. Оба, казалось, были вполне довольны друг другом.

– Беспременно надо выучить тебя, Максимка, по-нашему, а то и не разобрать, что ты лопочешь, черномазый! Однако валим наверх! Сейчас антиллеринское ученье. Поглядишь!

Они вышли наверх. Скоро барабанщик пробил артиллерийскую тревогу, и Максимка, прислонившись к мачте, чтоб не быть сбитым с ног, сперва испугался при виде бегущих стремглав к орудиям матросов, но потом скоро успокоился и восхищенными глазами смотрел, как матросы откатывали большие орудия, как быстро совали в них банники и, снова выдвигая орудия за борт, недвижно замирали около них. Мальчик ждал, что будут стрелять, и недоумевал, в кого это

хотят стрелять, так как на горизонте не было ни одного судна. А он уже был знаком с выстрелами и даже видел, как близко шлепнулась какая-то штука за кормою «Бетси», когда она, пустившись по ветру, удирала во все лопатки от какого-то трехмачтового судна, которое гналось За шкуной, наполненной грузом негров. Мальчик видел испуганные лица у всех на «Бетси» и слышал, как ругался капитан, пока трехмачтовое судно не стало значительно отставать. Он не знал, конечно, что это был один из военных английских крейсеров, назначенный для ловли негропромышленников, и тоже радовался, что шкуна убежала, и таким образом его мучитель-капитан не был пойман и не вздернут на нока-рее за позорную торговлю людьми.

Но выстрелов не было, и Максимка так их и не дождался. Зато с восхищением слушал барабанную дробь и не спускал глаз с Лучкина, который стоял у бакового орудия комендором и часто нагибался, чтобы прицеливаться.

Зрелище ученья очень понравилось Максимке, но не менее понравился ему и чай, которым после ученья угостил его Лучкин. Сперва Максимка только диву давался, глядя, как все матросы дуют горячую воду из кружек, закусывая сахаром и обливаясь потом. Но когда Лучкин дал и ему кружку и сахару, Максимка вошел во вкус и выпил две кружки.

Что же касается первого урока русского языка, начатого Лучкиным в тот же день, перед вечером, когда начала спадать жара и когда, по словам матроса, было «легче вой-

ти в понятие», то начало его – признаться – не предвещало особенных успехов и вызывало немало-таки насмешек среди матросов при виде тщетных усилий Лучкина объяснить ученику, что его зовут Максимкой, а что учителя зовут Лучкиным.

Однако Лучкин хоть и не был никогда педагогом, тем не менее обнаружил такое терпение, такую выдержку и мягкость в стремлении во что бы то ни стало заложить, так сказать, первое основание обучения, – каковым он считал знание имени, – что им могли бы позавидовать патентованные педагоги, которым, вдобавок, едва ли приходилось преодолевать трудности, представившиеся матросу.

Придумывая более или менее остроумные способы для достижения заданной себе цели, Лучкин тотчас же приводил их и в исполнение.

Он тыкал в грудь маленького негра и говорил: «Максимка», затем показывал на себя и говорил: «Лучкин». Прделав это несколько раз и не достигнув удовлетворительного результата, Лучкин отходил на несколько шагов и вскрикивал: «Максимка!» Мальчик скалил зубы, но не усваивал и этого метода. Тогда Лучкин придумал новую комбинацию. Он попросил одного матросика крикнуть: «Максимка!» – и когда матрос крикнул, Лучкин не без некоторого довольства человека, уверенного в успехе, указал пальцем на Максимку и даже для убедительности осторожно затем встряхнул его за шиворот. Увы! Максимка весело смеялся, но, очевидно, по-

нял встряхивание за приглашение потанцевать, потому что тотчас же вскочил на ноги и стал отплясывать, к общему удовольствию собравшейся кучки матросов и самого Лучкина.

Когда танец был окончен, маленький негр отлично понял, что пляской его остались довольны, потому что многие матросы трепали его и по плечу, и по спине, и по голове и говорили, весело смеясь:

– Гут, Максимка! Молодца, Максимка!

Трудно сказать, насколько бы увенчались успехом дальнейшие попытки Лучкина познакомить Максимку с его именем – попытки, к которым Лучкин хотел было вновь приступить, но появление на баке мичмана, говорящего по-английски, значительно упростило дело. Он объяснил мальчику, что он не «бой», а Максимка, и кстати сказал, что Максимкиного друга зовут Лучкин.

– Теперь, брат, он знает, как ты его прозвал! – проговорил, обращаясь к Лучкину, мичман.

– Премного благодарен, ваше благородие! – отвечал обрадованный Лучкин и прибавил: – А то я, ваше благородие, долго бился... Мальчонка башковатый, а никак не мог взять в толк, как его зовут.

– Теперь знает... Ну-ка, спроси.

– Максимка!

Маленький негр указал на себя.

– Вот так ловко, ваше благородие... Лучкин! – снова обратился матрос к мальчику.

Мальчик указал пальцем на матроса.

И оба они весело смеялись. Смеялись и матросы и замечали:

– Арапчонок в науку входит...

Дальнейший урок пошел как по маслу.

Лучкин указывал на разные предметы и называл их, причем, при малейшей возможности исковеркать слово, коверкал его, говоря вместо рубаха – «рубах», вместо мачта – «мачт», уверенный, что при таком изменении слов они более похожи на иностранные и легче могут быть усвоены Максимкой.

Когда просвистали ужинать, Максимка уже мог повторять за Лучкиным несколько русских слов.

– Ай да Лучкин! Живо обучил арапчонка. Того и гляди, до Надежного мыса понимать станет по-нашему! – говорили матросы.

– Еще как поймет-то! До Надежного ходу никак не меньше двадцати ден... А Максимка понятливый!

При слове «Максимка» мальчик взглянул на Лучкина.

– Ишь, твердо знает свою кличку!.. Садись, братец, ужинать будем!

Когда после молитвы раздали койки, Лучкин уложил Максимку около себя на палубе. Максимка, счастливый и благодарный, приятно потягивался на матросском тюфячке, с подушкой под головой и под одеялом, – все это Лучкин исколотал у подшкипера, отпустившего арапчонку койку со

всеми принадлежностями.

– Спи, спи, Максимка! Завтра рано вставать!

Но Максимка и без того уже засыпал, проговорив довольно недурно для первого урока: «Максимка» и «Лючики», как переделал он фамилию своего пестуна.

Матрос перекрестил маленького негра и скоро уже храпел во всю ивановскую.

С полуночи он стал на вахту и вместе с фор-марсовым Леонтьевым полез на фор-марс.

Там они присели, осмотрев предварительно, все ли в порядке, и стали «лясничать», чтобы не одолевала дрема. Говорили о Кронштадте, вспоминали командиров... и смолкли.

Вдруг Лучкин спросил:

– И никогда, ты, Леонтьев, этой самой водкой не занимался?

Трезвый, степенный и исправный Леонтьев, уважавший Лучкина как знающего фор-марсового, работавшего на ноке, и несколько презиравший в то же время его за пьянство, – категорически ответил:

– Ни в жисть!

– Вовсе, значит, не касался?

– Разве когда стаканчик в праздник.

– То-то ты и чарки своей не пьешь, а деньги за чарки забираешь?

– Деньги-то, братец, нужнее... Вернемся в Россию, ежели выйдет отставка, при деньгах ты завсегда обернешься...

– Это что и говорить...

– Да ты к чему это, Лучкин, насчет водки?..

– А к тому, что ты, Леонтьев, задачливый матрос...

Лучкин помолчал и затем опять спросил:

– Сказывают: заговорить можно от пьянства?

– Заговаривают люди, это верно... На «Копчике» одного матроса заговорил унтерцер... Слово такое знал... И у нас есть такой человек...

– Кто?

– А плотник Захарыч... Только он в секрете держит. Не всякого уважит. А ты нешто хочешь бросить пьянство, Лучкин? – насмешливо промолвил Леонтьев.

– Бросить не бросить, а чтобы, значит, без пропою вещей...

– Попробуй пить с рассудком...

– Пробовал. Ничего не выходит, братец ты мой. Как до-рвусь до винища – и пропал. Такая моя линия!

– Рассудку в тебе нет настоящего, а не линия, – внушительно заметил Леонтьев. – Каждый человек должен себя понимать... А ты все-таки поговори с Захарычем. Может, и не откажет... Только вряд ли тебя заговорит! – прибавил насмешливо Леонтьев.

– То-то и я так полагаю! Не заговорит! – вымолвил Лучкин и сам почему-то усмехнулся, точно довольный, что его не заговорить.

VIII

Прошло три недели, и хотя «Забияка» был недалеко от Каптоуна, но попасть в него не мог. Свежий противный ветер, дувший, как говорят моряки, прямо «в лоб» и по временам доходивший до степени шторма, не позволял клиперу приблизиться к берегу; при этом ветер и волнение были так сильны, что нечего было и думать пробовать идти под парами. Даром потратили бы уголь.

И в ожидании перемены погоды «Забияка» с зарифленными марселями держался недалеко от берегов, стремительно покачиваясь на океане.

Так прошло дней шесть-семь.

Наконец ветер стих. На «Забияке» развели пары, и скоро, попыхивая дымком из своей белой трубы, клипер направился к Каптоуну.

Нечего и говорить, как рады были этому моряки.

Но был один человек на клипере, который не только не радовался, а, напротив, по мере приближения «Забияки» к порту, становился задумчивее и угрюмее.

Это был Лучкин, ожидавший разлуки с Максимкой.

За этот месяц, в который Лучкин, против ожидания матросов, не переставал пестовать Максимку, он привязался к Максимке, да и маленький негр в свою очередь привязался к матросу. Они отлично понимали друг друга, так как и Луч-

кин проявил блистательные педагогические способности, и Максимка обнаружил достаточную понятливость и мог объясняться кое-как по-русски. Чем более они узнавали один другого, тем более дружили. Уж у Максимки были две смежные платья, башмаки, шапка и матросский нож на ремешке. Он оказался смышленным и веселым мальчиком и давно уже сделался фаворитом всей команды. Даже и боцман Егорыч, вообще не терпевший никаких пассажиров на судне, как людей, ничего не делающих, относился весьма милостиво к Максимке, так как Максимка всегда во время работ тянул вместе с другими снасти и вообще старался чем-нибудь да помочь другим и, так сказать, не даром есть матросский паек. И по вантам взбегал, как обезьяна, и во время шторма не обнаруживал ни малейшей трусости, – одним словом, был во всех статьях «морской мальчонка».

Необыкновенно добродушный и ласковый, он нередко забавлял матросов своими танцами на баке и родными песнями, которые распевал звонким голосом. Все его за это баловали, а мичманский вестовой Артюшка нередко нашивал ему остатки пирожного с кают-компанейского стола.

Нечего и прибавлять, что Максимка был предан Лучкину, как собачонка, всегда был при нем и, что называется, смотрел ему в глаза. И на марс к нему лазил, когда Лучкин бывал там во время вахты, и на носу с ним сидел на часах, и усердно старался выговаривать русские слова...

Уже обрывистые берега были хорошо видны... «Забияка»

шел полным ходом. К обеду должны были стать на якорь в Каптоуне.

Невеселый был Лучкин в это славное солнечное утро и с каким-то особенным ожесточением чистил пушку. Около него стоял Максимка и тоже подсоблял ему.

– Скоро прощай, брат Максимка! – заговорил, наконец, Лучкин.

– Зачем прощай! – удивился Максимка.

– Оставят тебя на Надежном мысу... Куда тебя девать?

Мальчик, не думавший о своей будущей судьбе и не совсем понимавший, что ему говорит Лучкин, тем не менее догадался по угрюмому выражению лица матроса, что сообщение его не из радостных, и подвижное лицо его, быстро отражавшее впечатления, внезапно омрачилось, и он сказал:

– Мой не понимай Лючика.

– Айда, брат, с клипера... На берегу оставят... Я уйду дальше, а Максимка здесь.

И Лучкин пантомимами старался пояснить, в чем дело.

По-видимому, маленький негр понял. Он ухватился за руку Лучкина и молящим голосом проговорил:

– Мой нет берег... Мой здесь Максимка, Лючика, Лючика, Максимка. Мой люсска матлос... Да, да, да...

И тогда внезапная мысль озарила матроса. И он спросил:

– Хочешь, Максимка, русска матрос?

– Да, да, – повторял Максимка и изо всех сил кивал головой.

– То-то бы отлично! И как это мне раньше невдомек... Надо поговорить с ребятами и просить Егорыча... Он доложит старшему офицеру...

Через несколько минут Лучкин на баке говорил собравшимся матросам:

– Братцы! Максимка желает остаться с нами. Будем просить, чтобы позволили ему остаться... Пусть плавает на «Забияке»! Как вы об этом полагаете, братцы?

Все матросы выразили живейшее одобрение этому предложению.

Вслед за тем Лучкин пошел к боцману, и просил его доложить о просьбе команды старшему офицеру, и прибавил:

– Уж ты, Егорыч, уважь, не откажи... И попроси старшего офицера... Максимка сам, мол, желает... А то куда же бросить бесприютного сироту на Надежном мысу. И вовсе он пропасть там может, Егорыч... Жаль мальчонку... Хороший он ведь, исправный мальчонка.

– Что ж, я доложу... Максимка мальчишка аккуратный. Только как капитан... Согласится ли арапского звания негру оставить на российском корабле... Как бы не было в этом заговоздки...

– Никакой не будет заговоздки, Егорыч. Мы Максимку из арапского звания выведем.

– Как так?

– Окрестим в русскую веру, Егорыч, и будет он, значит, русского звания арап.

Эта мысль понравилась Егорычу, и он обещал немедленно доложить старшему офицеру.

Старший офицер выслушал доклад боцмана и заметил:

– Это, видно, Лучкин хлопочет.

– Вся команда тоже просит за арапчонка, ваше благородие... А то куда его бросить? Жалеют... А он бы у нас заместо юнги был, ваше благородие! Арапчонок исправный, осмелюсь доложить. И ежели его окрестить, вовсе душу, значит, можно спасти...

Старший офицер обещал доложить капитану.

К подъему флага вышел наверх капитан. Когда старший офицер передал ему просьбу команды, капитан сперва было отвечал отказом. Но, вспомнив, вероятно, своих детей, тотчас же переменял решение и сказал:

– Что ж, пусть останется. Сделаем его юнгой... А вернется в Кронштадт с нами... что-нибудь для него сделаем... В самом деле, за что его бросать, тем более что он сам этого не хочет!.. Да пусть Лучкин останется при нем дядькой... Пьяница отчаянный этот Лучкин, а подите... эта привязанность к мальчику... Мне доктор говорил, как он одел негра.

Когда на баке было получено разрешение оставить Максимку, все матросы чрезвычайно обрадовались. Но больше всех, конечно, радовались Лучкин и Максимка.

В час дня клипер бросил якорь на Каптоунском рейде, и на другой день первая вахта была отпущена на берег. Собрался ехать и Лучкин с Максимкой.

– А ты смотри, Лучкин, не пропей Максимки-то! – смеясь, заметил Егорыч.

Это замечание, видимо, очень кольнуло Лучкина, и он ответил:

– Может, из-за Максимки я и вовсе тверезый вернусь!

Хотя Лучкин и вернулся с берега мертвецки пьяным, но, к общему удивлению, в полном одеянии. Как потом оказалось, случилось это благодаря Максимке, так как он, заметив, что его друг чересчур пьет, немедленно побежал в соседний кабак за русскими матросами, и они унесли Лучкина на пристань и положили в шлюпку, где около него безотлучно находился Максимка.

Лучкин едва вязал языком и все повторял:

– Где Максимка? Подайте мне Максимку... Я его, братцы, не пропил, Максимку... Он мне первый друг... Где Максимка?

И когда Максимка подошел к Лучкину, тот тотчас же успокоился и скоро заснул.

Через неделю «Забияка» ушел с мыса Доброй Надежды, и вскоре после выхода Максимка был не без торжественности окрещен и вторично назван Максимкой. Фамилию ему дали по имени клипера – Забиякин.

Через три года Максимка вернулся на «Забияке» в Кронштадт четырнадцатилетним подростком, умевшим отлично читать и писать по-русски благодаря мичману Петеньке, который занимался с ним.

Капитан позаботился о нем и определил его в школу фельдшерских учеников, а вышедший в отставку Лучкин остался в Кронштадте, чтобы быть около своего любимца, которому он отдал всю привязанность своего сердца и ради которого уже теперь не пропивал вещей, а пил «с рассудком».